НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО¹

Я присутствовал при его последних минутах и пишу к вам час после этого едва двигающейся рукой, под слишком еще двигающейся рукой, под слишком еще свежим впечатлением, произведенным на меня этою смертью, этою великою потерей, понесенною русским словом, русскою мыслью.

Дней десять тому назад я провел часть вечера с покойным у графини С.А.Т., которую он посещал очень часто и очень уважал и любил. Он был очень оживлен и весел. Шла, между прочим, речь о постановке двух-трех избранных сцен из трилогии графа Ал. Толстого, которую собирались разыграть любители в этом доме, и Федор Михайлович брал на себя роль схимника в *Смерти Иоанна Грозного*. Я уехал ранее его и, прощаясь с ним, спросил его, помню, увидимся ли мы с ним в будущий понедельник (приемный вечер графини)? – «Вероятно», - ответила он. Я пожал ему руку, и конечно не поверил бы, если бы кто-нибудь мне сказал, что мне не дано уже будет в жизни повторить это пожатие; так мало походил он на человека, дни которого изочтены.

В понедельник он, однако, не приехал. Я заметил это и спросил о нем хозяйку. – «Не знаю, он хотел быть», - ответила она мне, - занят, вероятно, своим *Дневником*» (который должен был появиться на днях) и прибавила: «Он обедал у нас третьего дня и взял экземпляр трилогии, чтобы выучить по нем свою роль».

Сегодня в среду, пред самым обедом прочел я в *Новом времени* сообщение о том, что Ф.М.Достоевский «сильно занемог». Несмотря на тревожный тон, каким выражено было газетой это известие, мне не верилось в то, что видимо заключалось под ним: «Вероятно, объяснил я себе, один из тех припадков эпилепсии, которым он был подвержен сильнее, чем обыкновенно, но он их-таки уже переносил»...

В исходе восьмого я звонил у двери его скромной квартиры в Кузнечном переулке, № 5-й. Еще стоя на площадке лестницы, я уже слышал сквозь эту дверь какой-то странный гул. Кто-то быстро отворил ее и рванулся мне навстречу: «Доктор, скорее, скорее!»- стнящим голосом вскрикнул какой-то молодой человек (это был пасынок Федора Михайловича, сын первой жены его от первого ее брака). Я не успел ответить, как в переднюю вылетела десятилетняя белокурая девочка с раздирающим криком: «Господин доктор, Бога ради, спасите папашу, он хрипит!»... - «Я не доктор», - растерянно, со внезапным ужасом проговорил я. В эту минуту в ту же переднюю вышел весь бледный, с лихорадочно горевшими глазами Ап. Ник. Майков: «Ах, это вы»... Он меня назвал; мы вошли в первую комнату. В коротких словах сообщил он мне, что, как и я, узнав из сообщения *Нового времени* о болезни Федора Михайловича, он зашел навестить его полчаса тому назад, и что, кажется, все кончено... В понедельник с ним сделалось вдруг кровохаркание; он

¹¹ Московские ведомости. 1 февраля 1881 г. № 32. С. 4.

потерял при этом, как говорят домашние, до полутора фунта крови и ужасно ослабел. Но вчера это не возобновилось; он спал хорошо, был в хорошем расположении духа, говорил о своем *Дневнике* и шутил над тревогой о нем: «Я, мол, еще всех переживу». Тем не менее, он пожелал исповедаться и причаститься. Сегодня же с утра стало хуже, нервы расходились ужасно, началось опять кровохаркание, и вот... Аполлон Николаевич не был в силах продолжать от волнения. – Можно его видеть? – «Пойдемте!...»

До последнего моего вздоха не забуду этой картины!..

Во глубине неказистой, мрачной комнаты его кабинета, лежал он, одетый на диване с закинутой на подушку головой. Свет лампы или свеч, не помню, стоявших подле на столике, падал плашмя на белые, как лист бумаги, лоб и щеки и несмытое темнокрасное пятно крови на его подбородке. Он не «хрипел», как выразилась его дочь, но дыхание каким-то слабым свистом прорывалось из его горла сквозь судорожно раскрывшиеся губы. Веки были прижмурены как бы таким же механически-судорожным процессом пораженного организма... Это было то давно знакомое мне, измученное мыслью, словно все прожженное изнутри страстным пламенем лицо, - но муки сознательной, физически муки в нем не сказывалось, - он был в полном забытьи...

Жена его билась в безумном отчаянии пред ним на коленях. Она припадала к его безжизненно спустившейся с дивана руке, со словами молитвы, с раздиравшим душу стоном, попеременно вырывавшимся у нее из груди... Двое детей их, сын и дочь, тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтоб, если у него были грехи, Бог ему простил!» - проговорила она с каким-то поразительным, недетским выражением, и залилась истерическими слезами. Я ее, всю дрожавшую ознобом, увел из кабинета, но она вырвалась из моих рук, и убежала опять к умирающему, между тем как А.Н.Майков усиленно уговаривал ее мать отойти от него, успокоиться хотя на миг... Она повиновалась наконец чтобы дать волю своим рыданиям, «чтоб он не слышал их...» «О, кого я теряю, кого я теряю!» - могла она только выговорить, падая в кресло в другой комнате... «Кого теряет Россия!» - невольно и одновременно вырвалось у нас с Майковым.

Мы дали ей напиться воды... «Ведь ему жить хотелось еще, жизнь только начинала улыбаться ему», - прорывались у нее слова – он надеялся еще многое сказать... И дышать стали мы легче... И вот!.. Он мне сегодня сказал: «Весь век мой бился я и работал, как вол, из-за хлеба насущного; думал: вот, наконец, будет чем детей на ноги поставить, и умираю, оставляя их нищими...»

- Священник... доктор, - почти одновременно прибежали сказать посланные за ними лица. Доктор поспешно прошел в кабинет, велел открыть форточку, потребовал пульверизатор и потребовал настоятельно, чтоб его оставили одного с пасынком Федора Михайловича у больного.

А.Н.Майков и я остались с Марьей Григорьевной... Прошло несколько минут невыразимо тяжелого ожидания.

Припертая доктором дверь в кабинет отворилась, наконец. Он вышел.

- Что, конец! – вскрикнула несчастная женщина, вскакивая конвульсивно с места.

Он усадил ее, взял руку. – Не кончено еще... но кончается, и я считаю своим долгом сказать вам, что последнее из чувств, умирающее в человеке, - это слух: не терзайте же его последних минут вашим отчаянием!

- О, доктор, я не всхлипну, но пустите, пустите меня к нему! И она ринулась с детьми к умирающему, пала с ними на колена... Все замерло мертвым молчанием. *Его* дыхания уже вовсе не слышалось.

Вошел священник, шепотом начал отходную... Доктор нагнулся к *нему*, прислушался, отстегнул сорочку, пропустил под нее руку – и качнул мне голову. На этот раз все было, действительно, кончено!»... Я вынул часы: они показывали 8 ч. 36м.

Его не стало, - и вся мыслящая *русская* Россия с чувством о глубокой, щемящей горести отзовется на эту утрату. Это был первоклассный талант и великая душа. Это был сильный, неустрашимый и неуязвимый борец ха Христа, за народ свой, за лучшие, святейшие верования его. Он заплатил за них всю жизнь своею и из ее страшного перемола, словно из очистительной купели, вынес такой высокий подъем духа, такую силу проповеди и власть над душами, что пред ними должны были смолкнуть его ожесточеннейшие противники. Нужно ли напомнить, в какой рост вырос он пред всею Россией на Пушкинском празднике?.. Молодежь чувствовала, видела, признавала в нем *учителя*, и влияние его на нее – на этих детей отцов Базаровых, - росло с каждым годом все сильнее и сильней... Для нее начал он опять издание своего *Дневника*, за которым застала его смерть

28 января 1881 г.

Среда, 11 ч. вечера